Про Есенина много чего наговорено...

Так я же «не про...». Я — как у него: «Я хочу рассказать тебе поле». Не про поле, а поле! Это персиянке предлагается догадаться, каким становится ржаное поле, когда его освещает луна, а несильный ночной ветер колышет, раскачивая уже созревшую жниву. Вот и получается совсем другая картина — «тех волос золотое сено превращается в серый цвет». Ну, не серый, пепельный. Вот только у скрытых, спрятанных языком, поэзией русского языка значений слова *пепельный* слишком много смысловых оттенков, Есенину не нужных, а значит, лишних. Пепел, пепелище...

Это я сейчас почти что складно формулирую, тогда, конечно же, не получалось. Синявский хотя и делает вид, будто слушает, роется, чертыхаясь, в пачке бумаг и, найдя нужную, вруча-

Есенин и Айседора Дункан.
1921 год. На палубе океанского лайнера

И. Шишкин. «Рожь»

ет. Очередной список работ, давно написанных ПРО... Про все то, что надлежит филологу знать. Свет в подвальчике скудный, машинопись почти слепая. И еще добавляет совсем уж скучное: диплом на машинке, в двух экземплярах. Себе оставите третий. И чтобы сноски — по всем правилам. Полистав получерновую машинопись, ни-

1954 год. Холодный март. МГУ. Моховая. Во дворе Аудиторного корпуса. Третий курс филфака в ожидании автобуса. Автобус должен доставить нас на Воробьевы горы. Дворец науки уже открыт, однако окружающая ее территория требует Очень Большой Уборки. Автобус опаздывает, но мы не внакладе. И мы, девочки, — вокруг единственного на курсе парня с аккордеоном. Сочиняя фоторепортаж, пытаюсь поинтересней сфотографировать Левку Аннинского, а он нас

Аннинский, забравшийся на знаменитые узорно-чугунные врата

Вот и моя функция на субботнике. Меня превратили в вешалку

каких вопросов филологического толка Синявский задавать не стал, спросил лишь о том, о чем в марте 1956-го говорила вся Москва. И не только Москва. Он спросил, я ответила. Не верю-де и никогда не поверю, будто никто ничего ПРО ЭТО не знал. И еще сказала, укладывая в сумку рукопись, это, мол, не окончательный вариант, настоящий недели через две или три принесу. После госэкзаменов. И встала. Но Синявский меня задержал. Гости, мол, не раньше чем через час заявятся, а мы пока чайку выпьем. Ничего, кроме заварки, к чаю нет, но заварка приличная. Я чайник включу, а вы про то, что на факультете делается, доложите.

На факультете? Лица у всех изменялись, у кого повеселели, у кого наоборот. Да мы, выпускные, там редко бываем, вот разве когда распределение подписывали...

Заварка и впрямь хорошая. Чай без ничего у нас в семье не пьют, только с вареньем или когда пирог яблочный, но я постаралась, чтобы Андрей Донатович этого не заметил. А он и не заметил, вот только к слову *распределение* прицепился. И куда же вас распределили? Как куда? Я же доложила: в Саратов. Наверное, и про это бы рассказала, — пустой чай к разговариванию располагал. Но в дверь, к моему облегчению, забарабанили. Оказалось: водопроводчик. Синявский вскочил, быстренько вынес пальто — вешалка была там же, где и санузел, в прихожей, и, закрывая уличную дверь, крикнул вдогонку. В Саратов, дескать, об заклад бьюсь, вы все-таки не поедете.

Был март, но холодный. Ветер, мокреть, вьюга, и я опять пожалела, что подарила подруге свой прежний демисезон. И немаркий, и теплый. Новое пальтецо хотя и смотрится, но пока перед длин-

Территория Большой Уборки

ным зеркалом стоишь. А в носке... неудобь, да и только. Одна пуговица, и та внутренняя. Мама как посмотрела — и разговаривать не стала.

Закутавшись с головой (меня сильно, вроде как гриппозно знобило), я упорно занималась тем самым самоуничижением, каковое якобы паче гордости. Чтобы, всерьез собираясь в Саратов, да еще и собкором отдела культуры в большой областной газете, выбрать среди вывешенных в ателье полуфабрикатов такую нелепость? Словом, все вместе, сцепляясь, выглядело до того несуразно, что я медленно, как сползающее скользкое одеяло, трусливо уползала в сон. Но при этом словно бы видела, как некто неизвестный в парике и камзоле (из книжки без конца и начала, найденной когда-то в Белоомуте, на чердаке) усаживается на невидимое атласное и раззолоченное канапе и пишет прямо по воздуху то, что одновременно произносит вслух. Буквы и составленные из букв слова — русские, но произносит он их по-французски. Человек бывает столь же отличен от себя, как и от других людей...

...И жест вернее, чем сюжетный трюк

В какой же из ситуаций столь явно-отчетливо отличилась я от самой себя? Когда зачем-то купила неподходящую для провинции одежку или, наоборот, когда с удовольствием подписывала присланный из Саратова персональный запрос? Гарантированного ответа не знаю и сейчас, а дело тут, видимо, вот в чем. Убедившись на практике, что в любом учебном, что в школе, что в вузе, заведении не приживусь, поскольку обучать множество не умею и не сумею, приуныла. Вариантов было несколько, но так как филфак бросать не хотелось, самым реальным показались двухгодичные курсы журналистики при ЦДЖ. Там мы с ней, точнее, она со мной, и познакомилась. Сразу же и представилась: учусь, мол, в химическом, а в ЖУР записалась потому, что собираюсь работать дома, в Саратове, в большой важной газете. В промышленном отделе. Несмотря на легкий комсомольский акцент, Ксюшка оказалась и умницей, и симпатягой, но занятия были вечерними, времени ни для прогулок, ни для размена чувств и мыслей не оставалось. Впрочем, к концу учебного года все-таки выяснилось, что новая моя коллежанка — дочь то ли первого, то ли второго секретаря Саратовского то ли обкома, то ли горкома партии. А выяснилось потому, что вечерами ее стал поджидать у Домжура молодой, хотя и не слишком, и при этом откровенно деловой человек. То ли очень дальний родственник, то ли кандидат в женихи. По окончании своей командировки в столицу он-то и пригласил нас в ближайшее кафе. Может быть, даже в «Прагу». Вот тут-то между поджаркой и мороженым и зашел разговор о том, что отец (секретарь то есть) знает, как оформить приглашение на работу в саратовской главной газете таким образом, чтобы она считалась длительной командировкой, то есть с фактическим сохранением московской прописки. И так далее, и так далее... Подробно разработанных планов действий у нас с Ксюшей не было, но и разговоры, и проекты возникали, и мечтания тоже. Из каникулярной поездки домой она даже привезла, чтобы мне показать, конверт с десятком дореволюционных, с музейными штампами, открыток старого Саратова. Словом, когда оказалось, что в распределительной очереди могу не стоять, поскольку на меня прислан персональный запрос, я, конечно, обрадовалась, но и не удивилась. Удивления начались после XX съезда. Не сразу, нет. Ни московского, ни саратовского

Леонид Быков. Один из самых популярных актеров тех лет. В роли Максима Перепелицы. Ни одной нужной мне фотки первого своего литначальника Ивана Фотиевича Стаднюка я, к сожалению, в Интернете не обнаружила. Изображений, разумеется, множество. Однако на всех он мало не похож на того себя, каким был летом 1956-го. В пору шумного успеха его фильма. На одних слишком молод, на других чересчур солиден. В ту пору его вполне можно было принять за слегка располневшего Перепелицу

номера телефона дочери секретаря я не знала. Звонила всегда Ксюша. И судя по всему, из автомата. А не дозвонившись, давала телеграммы. Согласно последней (в конце февраля или в первых числах марта 1956-го), она срочно укатила в Саратов. Была и приписка. *Все как решили. Подробности письмом.*

Письмо из Саратова никогда не придет, но этого в метельный тот день я все-таки не предполагала. Словом, докладывая Синявскому, что подписала распределение в Саратов, говорила чистую правду. Впрочем, правду, если она слишком чистая, люди недаром принимают за стерильную, без единого осколка истины антиправду.

Делать вид, что вся эта история всего лишь развлекала, не собираюсь. Напрягала, и еще как, а то и раздражала. Особенно в преддипломные денечки, когда на курсе началось активное броуновское движение. Одни бегут в загс. Другие запасаются медицинскими справками. Третьих, оказывается, давно уже ждут рабочие места в самых неожиданных учреждениях. Нет, нет, я не иронизирую. Ранним летом все того же 1956-го даже я, не сделав малейшего усилия, в результате «странных сближений» (проделок все той же Клио?) оказалась в бывших Спасских казармах, причем в том самом помещении, где когда-то отбывал наказание за разные прегрешения, в том числе и за поэму «Сашка,» Александр Полежаев... «Но "Сашка" тот печати не видал, и, недозревший он угас в изгнанье...» (Лермонтов). Однако сначала представьте себе картиночку. Старый филфак. Учебный корпус, черная виляющая лестница. И ни души. Наверху в парткоме, конечно, дежурят, и не в гордом одиночестве: тройкой. Зато на лестнице — пусто. А я вроде бабочки, которая, залетев в темный угол, замирает, сложив крылышки. В одной руке диплом, в другой только что выданная вместе с дипломом справка о свободном по техническим причинам распределении. Сумочка маленькая, кожаная, черная, на длинном, тоже кожаном, ремешке. Диплом не влезет. Вот разве что боком... Мне настолько никак, что одолевающий очередной этаж то ли майор, то ли уже подполковник не вызывает ни удивления, ни любопытства. Когда по утрам втискиваюсь в 21-й трамвай, в вагоне — ни одного штатского. Проходит, не оглядываясь, и этот. Минут через десять спускается. Останавливается и, не представляясь, задает вопрос: «Кино про Максима Перепелицу видела?» Еще бы, отвечаю, в нашем клубе неделю крутили. А фамилию сценариста заметила? Да нет, какое, только актера — Быков, но не Ролан. Так, может, тогда познакомимся? Я, мол, тот сценарист и есть: Стаднюк Иван Фотиевич. Запомнила? Как не запомнить — у меня все дядьки двоюродные Фотиевичи... Стоим друг против друг друга, то да се, пустой такой разговорчик, диплом, однако, в сумку пристроить помог, а бумажку, из Саратова присланную, в руке держит, раз прочел, еще раз, и вдруг спрашивает: а кто-нибудь из партначальства есть тут где-нибудь или и там хоть шаром покати? Вот и потащились мы с ним на последний этаж, а там Володя Лакшин и еще кто-то из аспирантов. Ну, вляпалась, думаю. Теперь шум поднимут и к черту на рога отправят. В школу! А они, наоборот, радуются, заверяют, что никакого личного касательства к саратовским делам не имею и серьезных провинностей по комсомольской линии за мной не числится. Тут Стаднюк им и объяснил, что журналу «Советский воин», где он литературным отделом командует, младший редактор требуется, для того, дескать, главред Панов Виктор Васильевич на филфак его и отправил. Но это совсем отдельный сюжет, и память о людях, в этот сюжет волею случая залетевших, от самого Ивана Стаднюка и Константина Поздняева до Виктора Конецкого, томит меня как не отданный вовремя долг. Но это, повторяю, совсем другая параллельная боковая история и к событиям весны 1956-го отношения пока не имеет, потому что главное событие той весны — диплом и все, что с ним связано.

Приносить к Синявскому в Хлебный подвальчик наконец-то вычитанную и отпечатанную машинопись — да еще и в двух экземплярах! — как оказалось, было не нужно. Уложенная в стандартную папку, сдана под расписку в специально созданную комиссию: сроки защиты, выбор оппонентов, номера мини-аудиторий — это уже их заботы. У меня же забота теперь одна. Соседка, осмотрев мой «гардероб» и найдя его неподходящим для такого мероприятия, уговорила известную в нашем городке портниху сшить и для меня что-нибудь «порядочное». Полулегендарная Стася — мастерица прекрасная, одна беда — время от времени запивает. Стася, к счастью, не запила, а вот защита, как и предполагал Синявский, прошла негладко (*спотыкач* вышел). Оппоненты (официальные) цеплялись к мелочам, но, как я сейчас понимаю, дело было не во мне. Андрей Донатович не устраивал декана, и его, что называется, вытесняли, и он это знал. Поэтому и отвечал вяловато, словно бы нехотя, а для того, чтобы не позволить влепить мне *хор.*, а то и *уд.*, видимо, и пригласил, кроме официальных якобы сторонников защиты, еще и Римму Васильевну Комину и Михаила Матвеича Кузнецова, в просторечье Михмата. Михмат на филфаке лекций не читал, семинаров не вел, однако административно-финансовое отделение филфака от журфака еще, похоже, не произошло. И когда время от времени он и у нас все-таки появлялся — моложавый, высокий, статный, — девицы начинали шушукаться и стрелять глазками. Судя по репликам в туалете, их интриговало семейное положение импозантного Кузнецова. Впрочем, на моей защите особ женского пола не было, массовку играли первогодичные аспиранты. Ситуацию переломила Римма Васильевна. Она, кажется, уже сдав аспирантские и вроде даже защитив кандидатскую, курировала нашу интернациональную группу, ожидая оформленного документально вызова в Пермский университет. Кузнецов, присевший сбоку, у самого окна, помалкивал, листая то с начала, то с конца мой текст. Римма говорила замечательно — легко, спокойно, красиво. Но точку поставил все-таки Михмат. Дословно его реплику воспроизвести не могу, но суть сказанного передаю точно. Способных филологов у нас, мол, достаточно, а вот критиков — раз два и обчелся. А из автора этого сочинения, может, и впрямь критик вылупится.

Синявский чуточку ожил, а Римма Васильевна заулыбалась. А дня через три позвонила; за диплом все-таки *отл.* поставили, а ей велено отвести меня в «Литгазету». Встретились мы с ней где-то в центре, вроде бы у Большого театра, и шли пешком. Медленно. Темп задавала Римма, точнее, программа задуманного ими предприятия[1].

Надо же было хотя бы в общих чертах объяснить мне ситуацию в «Литературке». А ситуация была парадоксальной, как, впрочем, и все в то переломанное лето («Время вдруг переломилось...». Ю. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара). Прежний главред Константин Симонов отставлен, хотя официально и не уволен, а новый, Кочетов, назначен, но еще не утвержден. А пока паны дерутся, газету делает Валерий Алексеевич, который с Кузнецовым знаком давно. Вот к нему, объясняет Римма Васильевна, мы с тобой и зайдем. А там видно будет...

Ни слушать Римму, ни расспрашивать меня Косолапов не стал, а сразу же отослал на шестой этаж. К Огневу. На филфаковских капустниках аспиранты, пародируя танец маленьких лебедей, распевали, под хохот зала, пританцовывая и задирая волосатые нижние конечности, всему факу известное: «Нам другой дороги, братцы, нету. Нам одна дорога в "Литгазету"». Но я-то эту дорогу не выбирала. Я собиралась в Сара-

---

[1] Долгое время была я убеждена, что инициатором этого «проекта» был Андрей Донатович. Но, прочитав в «Знамени» воспоминания Андрея Туркова (рубрика « Однажды в «Знамени», год, кажется, 2001-й), усомнилась. Могла бы усомниться и раньше, так как Михмат в «Литературке» при С. С. Смирнове(1959–1960) года два или три был его замом. Но я в ту пору печаталась в основном «у братишек» (отделе братских литератур), а он отвечал за шестой русский «этаж». Приводить доказательства не буду, а вот фрагмент из воспоминаний А. М. Туркова приведу. По-моему, этот текст убедительней, чем мои предположения, свидетельствует: М. М. Кузнецова всерьез заботило состояние тогдашней службы «деятельного наблюдения современных замечательных явлений» (Пушкин, о критике): «Далекий вечер далекого 1949 года. Сижу в редакции "Правды" и в энный раз правлю свою рецензию на повесть Веры Пановой "Ясный берег". Пришел я туда, что называется, с улицы, попал к веселому и насмешливому сотруднику отдела литературы Михаилу Матвеевичу Кузнецову, который ядовито раздраконил мой опус... Я обескураженно распрощался, как вдруг он: "Так когда же принесете новый вариант?" Второй... Третий... Четвертый... Пыхчу, переписываю и однажды слышу из-за двери, как другой сотрудник, то ли с досадой, то ли с пренебрежением фыркает: "И чего ты с ним возишься?!" Но Михмат (как его звали до самой безвременной смерти) не унимается — возится! А тем вечером входит в комнату вместе с каким-то незнакомцем, который, поздоровавшись, говорит: «Давайте и нам что-нибудь напишите, в "Знамя"!» Осведомляюсь, кого там спросить? «Кожевникова», — отвечает Кожевников, которого я по темноте своей не знаю в лицо». И выходит так, что по протекции моего "крестного" М. М. Кузнецова первым меня печатает "Знамя" (в "Правде" же рецензия еще до-о-олго лежала). Признаться, не могу похвастать ни первой знаменской публикацией, ни несколькими последующими...

Римма Васильевна Комина. Фотография из выложенных в Интернете фрагментов книги «Римма», сборника воспоминаний о ней — коллег, друзей, учеников... Осенью 1956-го Римма Васильевна уезжала из Москвы на свой Урал так срочно, что мы простились всего лишь по телефону. Да и встретились тоже телефонно — в начале 90-х. Я тогда работала в журнале «Согласие», где она меня и нашла. И позвонила почти наобум... И как и тридцать с лишним лет назад — наспех. Перед самым отлетом в Пермь. И с надеждой на встречу, которая не состоялась... Из всех моих утрат эта невстреча, может быть, самая горькая

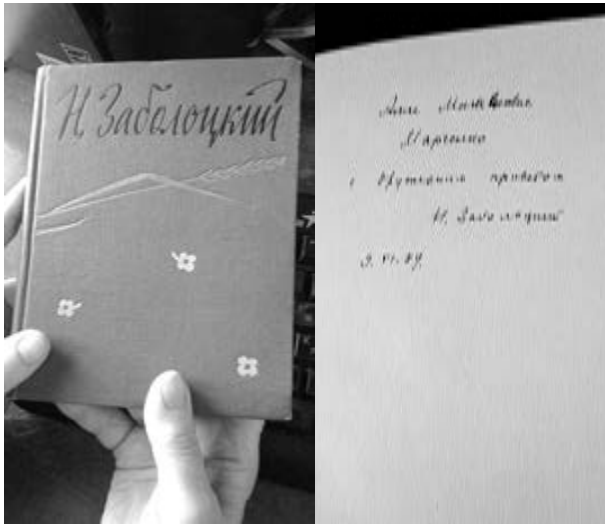
Н. Заболоцкий, Крым, осень 1956 года

тов... К тому же Огнева В. Ф. появление предполагаемого автора ничуть не обрадовало. Он был и хмур, и озабочен. Вручил без особых объяснений стопочку сборников участников ленинградского совещания молодых поэтов. Сам-де по недосугу не успел полистать, но вы с карандашиком почитайте, а через неделю отчитаетесь. Неделя мне не понадобилась. Все-таки и Дувакин, и Синявский, хотя и не одобряли «завиральности», мое «понимание стихов» немножко повысили. Словом,

«ЛГ», конец 50-х. Владимир Огнев беседует с Андреем Вознесенским. Вознесенский на этом фото как две капли воды похож на свой автопортрет той поры: «И между ними мальчик странный, еще не тронутый эстрадой»

возвращая Владимиру Федоровичу упражнения питерских «тельпуговых», я ежели и смущалась, то не так сильно, как в первый раз. Да и Огнев не выглядел очень уж озабоченным. Шутил, улыбался, светлел. Таким навсегда и остался — непростительно молодым, красивым, да еще и легким в шагу. Я не про врожденную легкость словесной походки («у всего своя походка есть, что приятно уху, что для глаза»). Я про такой ход мысли, который то порождает, то чуть ли не под ногами находит аргументы, способные развернуть ситуацию самой человечной и правильной ее стороной.

Ну вот, к примеру, какую пользу отечественной словесности принесло затраченное Владимиром Федоровичем время на возню с привередливой особой ранним летом 1956-го? Зачем в разгар нападок на «Литературную Москву» подписывать в печать наивную ее статейку про стихи Николая Заболоцкого, в этом альманахе напечатанные? А возни и впрямь было многовато. Ведь при втором моем появлении на шестом этаже Огнев вручил мне вовсе не «Лит. Москву», а увесистый поэтический сборник, который в газете следовало как-то отметить. Предупредил и о том, что уходит в длинный отпуск и что замещать его будет Григорий Михайлович Левин, бессменный руководитель легендарного литобъединения «Магистраль». Вру-



Н. Заболоцкий. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1957

ченный том я прочла залпом. На первой же полусвободной скамейке Цветного бульвара. Решила тут же вернуть, но книга была с дарственной. Неудобно. На всякий случай позвонила Синявскому…

Синявский снял с полки первый выпуск «Литературной Москвы» и посоветовал обратить внимание на стихи Леонида Мартынова. Увы, и Мартынов оказался не моим поэтом. Зато Заболоцкий, впервые после долгих лагерных лет опубликованный, и поразил, и тронул одновременно — *вместе.* Я перестала заглядывать в почтовый ящик в тщетном ожидании обещанного письма с саратовским штемпелем и недели через полторы появилась на шестом этаже с уже перепечатанной рецензией. Левин текст принял, пообещав показать Огневу (хотя В. Ф. и в отпуске, но заходит). Левин же, как помнится, дал и название: «Взыскательный мастер». Название не понравилось, но я промолчала. Все равно же не напечатают. Напечатали, однако. Правда, не скоро, осенью (26.09.1956). В ту пору уже работала в «Советском воине», кто-то из сотрудников журнала мне этот номер и принес из дома. Никаких особых чувств я при этом, каюсь, не испытала. Зато сейчас испытываю, поскольку, судя по воспоминаниям Никиты Николаевича Заболоцкого, написавшего прекрасную книгу об отце, эта публикация, вернее, факт публикации в «ЛГ», сыграл важную роль в творческой судьбе поэта. Его поэтический сборник, застрявший в «Худлите», немедленно отправили в набор. И рецензия, повторяю, наивная, и книжка обидная (почти три четверти — переводы). Но лед тронулся. Я бы, по обыкновению, приняла слова Никиты Николаевича за вежливость интеллигентного человека, если бы Заболоцкий совершенно неожиданно не приехал в литобъединение «Магистраль» и не привез мне в подарок эту самую красиво изданную, но такую скупую и осторожную книгу. На ней, в дарственной, зафиксирован и день приезда на площадь трех вокзалов — 09.06.1957. А если заглянете на последнюю страницу, убедитесь: в набор она отправлена 5 октября 1956 года, то есть ровно через неделю после появления рецензии на его стихи в «Литературной Москве», которую Огнев и Косолапов подписали в набор. В отличие от меня, девчонки, они-то прекрасно понимали, чем рискуют, поддерживая «Литературную Москву». Вырезка, к сожалению, не сохранилась, но, прочитав этот текст в огромном томе «Н. А. Заболоцкий PRO ET CONTRA», увидела, что Владимир Федорович ничего не изменил, сняв только ссылку на издание, в котором разбираемые стихи были опубликованы.

Н. Заболоцкий. Про и контра. СПб.: Изд-во русской христианской гуманитарной академии, 2010

Но я опять нарушила хронологию повествования. Время в который раз и опять словно бы «вдруг переломилось» памятной осенью 1965-го. Фантастический Георгий Гачев наверняка где-нибудь да отметил, что 65 — это 56, только наоборот. Однако и в моей полубытовой хронике легкокасательные симптомы приближающегося слома все-таки присутствуют.

Был тот человек авантюрист,
но самой высокой и лучшей марки…

Эти есенинские слова (из «Черного человека») приводит друг и соавтор Синявского Игорь Голомшток, ссылаясь на мнение вдовы Андрея До-

Абрам Терц. Пхенц. Обложка книги

натовича о личности своего мужа. (Журнальный зал, « Знамя», 2012 и 2013 годы.) Чувствовала ли я этот загнанный глубоко в подполье якобы авантюризм Андрея Донатовича? Пожалуй. Смутно, но чувствовала. Уж слишком подчеркнуто держал он дистанцию, и дистанцию, и позу, и стиль рядового, без академических претензий гуманитария. Корнелий Люцианович Зелинский, ответственный редактор голубого, худлитовского, есенинского пятитомника, включил в комментаторскую группку и меня. Большой сбор проходил в ИМЛИ, и Синявский как специалист, работавший над книгой «Поэзия первых лет революции» (М.: Наука, 1964), на этих мероприятиях появлялся. Да и давние его рассказы о блужданиях по русскому Северу местами и впрямь смахивали на приключения «твикстера», то есть персонажа по имени Абрам Терц. (Этим псевдонимом, как общеизвестно, А. Д. С. подписывал тайно передаваемые на Запад свои беллетристические сочинения). Не спрашивал он и том, что я такое пишу и где публикуюсь. И не по равнодушию, а потому, что был явно занят каким-то другим, к текущей литературе и критике не имеющим отношения делом. Так что я до крайности удивилась, получив приглашение заглянуть на досуге в подвальчик, чтобы получить в подарок еще не поступившую в продажу книжку о Пикассо, написанную им совместно с И. Голомштоком. Приглашение было приглашением вообще, без даты и времени, да и сделано между прочим — мы шли, как иногда бывало в начале 60-х, когда готовился голубой пятитомник, от ИМЛИ по Поварской — он до Хлебного, а я дальше к Арбатской. Однако через некоторое время, месяца через два, не раньше, А. Д. предложение повторил. Изданная «Знанием» брошюрка (полтора листа общих мест, плюс стандартный набор черно-белых «иллюстраций») давным-давно и куплена, и прочитана. Но я все-таки явилась, а вдруг неизвестному мне соавтору И. Голомштоку ведомо, с какой такой немецкой книгой о Пикассо носился по Москве Есенин, отыскивая человека, который мог бы ему ее прямо с листа пересказать. Но речь о Пикассо так и не зашла. Оказалось, что некий близкий и дорогой хозяину человек пишет рассказы и очень просил А. Д. ознакомить хотя бы с одним из них нескольких разных, по вкусам и возрасту, но грамотных и неглупых читателей. Оказалось также, что текст существует в одном-единственном экземпляре и его следует не прочитать, а прослушать. В первый момент, после прослушивания начальных страниц, я, грешным делом, подумала, что это либо пародия на театр одного актера, либо кто-то из друзей Синявского нашел в архиве Сологуба подписанный его именем графоманский текст и теперь проверяет, а вдруг и этот муляж сварганил «мелкий бес» серебряного века. Но когда выяснилось, что главный персонаж рассказа — Пхенц, то есть инопланетянин, не может ничем убедительным подтвердить свою инакость, выключила мозг как приемник. Ну решительно ничем, даже простыми воспоминаниями о родимой Планете, не может. Без воды, конечно, ни туды и ни сюды, раз он питает себя как растение. Но это слова, потому что сей водозависимый Пхенц на самом деле выглядел как двойник коммунальных «выродков» Зощенко, а не как существо из другого, неземного вещества сотворенным. Ох, если бы я могла все это выговорить. Увы, не могла. Во-первых, дала слово, что никогда и ничего про Пхенца не расскажу, а во-вторых, рассказывать было некому. Вот ведь незадача: говорить есть с кем, а разговаривать не с кем. Кончилась смурная пора внезапно — стихами.

Приходила на исповедь.
Выслушивала проповедь.
Рассматривала исподволь
Преисподнюю.
Вполне современное пекло.
Колесо смеха — Чертово колесо.
И в качестве знаков XX века
Лики угодников. И Пикассо.
Хозяин юродствовал.
Росла гора окурков.
Прикидывался постником

Из городка Окурова.
Сельским философом.
Попом — расстригой.
Над лампой профиль
Прост,
Как коврига.
И рыжие подпалины в бороде.
И рыжая яичница на сковороде.
Магнитофон захлебнулся твистом.
Вы мне надоели, товарищ Мефисто.
Арбатский мой демон, мой лучший учитель.
Расплачиваюсь. Получите.

Ну да, и с гневом, и с пристрастием. Но опустило и вместе со стихами вроде как миновало. Вроде как померещилось.

Человек бывает столь же отличен от себя, как и от других людей

Итак, возвращения в прошлое закрыты на перерыв, и на дворе снова август 1965 года. У Синявского две крупные удачи: Пастернак в «Библиотеке поэта» и «Поэзия первых лет революции». В «Новом мире» тоже кое-что язвительное появляется, хотя под паном Твардовским не развернешься. Тяжел камень, к земле тянет. Да и у меня в «Худлите» книгу о Есенине вроде приняли. Рецензии, обе, «положительные». Однако, по мнению Косолапова, а он и здесь главред, не солидные. Вот и попросили, может, Синявский тоже прочтет и, ежели дельная, сварганит «внутряшку». Синявский соглашается. И даже охотно, вот только, как и летом, при уговоре об Окуджаве для «Воплей», с оговоркой. Пусть-де не торопят. Разговариваем мы не в подвальчике, как обычно, когда я диплом писала, а наверху, где, кроме нас, за обеденным столом еще двое — сестра и отец А. Д., ну и «со́бак» тут же. В простенке меж выходящими во двор окнами — столик. На столике три небоскреба — древнеархивного вида фолианты и только что вышедший в «Библиотеке поэта» Пастернак. Разговор, покрутившись окрест знаменитой новинки, перебрасывается на книжные громады русских древностей. Оказывается, Донатыч вздумал воскресить Смутное время: Годунов, Гришка... Ого, так, может, и «Пхенц» не его сочинение, а, как и предупредил, приятеля? Может, затем и по северам бродяжничает, чтобы запах давнопрошедшего времени вынюхать?

Выйдя на Поварскую (как тогда называлась, уже запамятовала), а вот то, что, выйдя, свернула не влево, к Арбату, а направо, и по дороге выковыривала из подвала памяти злые и неблагодарные стихи, написанные сразу же после «прослушивания» «Пхенца», — это не потускнело.

В «Худлите», однако, ждать не желали. Главный здешний начальник Валерий Алексеевич Косолапов человек дела[1]. Это я и по «Литературке» помнила. В самом начале сентября Толя Старков (назначенный «Есенину» в литредакторы), позвонив сначала Синявскому и сразу же мне, обрадовал. А. Д. рукопись прочитал, понравилась, и днями пришлет внутреннюю рецензию. А несколько дней спустя тот же Старков, вызвав с утра пораньше в издательство, молча вернул рукопись и, проводив до лестничной площадки, объяснил: Синявского арестовали. В редакции об одобрении если и вспомнят, то не все. Разговор был короткий. Хуже, что Соловьеву на радостях он, Старков, сам же и сообщил. Но, мол, надеюсь, особо болтать не будет. Самому невыгодно. Да и про Есенина наверняка не спросит. А если и спросит, скажу: вернули на доработку...

На выходе сталкиваюсь с Юрием Буртиным. Ныне он при Твардовском, важный, но для меня прежний, добрый приятель и однокурсник (по ЛГУ) ближайшей из моих новых «товарок» —Тамары Громовой. Докладываю. Взвесив вес содержимого и завязав понадежнее тесемки, Юрась засовывает папку в свой неизменный «учительский» портфель: отнесу-де при случае в «Совпис», Леве Шубину, чем черт не шутит. Черт и впрямь вволю нашутковался. Летом 1972 года Синявский после почти семи лет лагерной муки наконец отпущен и на пару с Пушкиным уже гуляет по Парижу, а многострадальный мой «Есенин» все еще досиживает лагерный срок. Ситуация классическая: а мы просо сеяли, а мы просо вытопчем... Но в марте 1965-го этого я не знаю.

Лицом к лицу лица не увидать...

В марте 1965-го придерживаюсь, как и тогда, в детстве, солнечной стороны и, как и тогда, то и дело останавливаюсь, ибо не столько гуляю, сколько

[1] Считается, что внезапное, по требованию Хрущева, увольнение В. А. Косолапова из «Литературки» связано не с публикацией «Бабьего яра», а с «авангардистской» выставкой 1962 года в Манеже, то есть якобы потому, что «ЛГ», фиксируя хронику культурных событий столицы, отклонилась от линии партии. На самом деле ни Фурцева, ни Поликарпов, как кураторы выставочного проекта, в отличие от Н. С. Х., крови не жаждали. Впрочем, Хрущев ярился недолго, и Косолапова по-тихому, без обсуждений переместили в «Худлит», укрепив идейность вживлением в издательский коллектив проверенного товарища. В редакции критики и литературоведения неизбежную эту функцию осуществлял, по-видимому, Г. А. Соловьев, специалист по эстетическим взглядам как Чернышевского, так и Карла Маркса.

А. Фадеев, первый секретарь Союза писателей СССР, в пору всенародного успеха романа «Молодая гвардия»

прогуливаю соседку по голицынскому табльдоту Валерию Анатольевну Герасимову. Представляете? Опять совпадение! Муравьев книжку про ее брата оформляет, а я с его сестрицей беседую! Разговоры у нас долгие, а ей на ходу говорить трудно: сердце. И долгие, и обоюдно вопросительные. В. А. не терпится узнать, обсуждают ли в «Воплях» ее воспоминания о Фадееве и Либединском. Обсуждают, конечно, но осторожно. Ждали-де большей «эмоциональности». Да она и сама знает, потому и спрашивает. Спрашивает во множественном числе, но имеет в виду в данный момент меня. Нет, нет, я не выкручиваюсь. У меня и впрямь нет особого мнения. Фадеева видела только в хронике, о существовании скрытого от народа предсмертного письма узнала не в мае, а поздним летом, со слов своего тогдашнего по «Советскому воину» начальника Стаднюка. Ивана Фотиевича Стаднюка. Да и пастернаковский отклик на самоубийство всесильного министра литературных дел знаю лишь понаслышке. В метро приятель на память продекламировал.

Сын А. Фадеева М. Фадеев: «Я первым обнаружил отца застрелившимся на даче в Переделкино»

Герасимова останавливается. Останавливаюсь и я. «А вы что, как и Пастернак, считаете — по пьяному делу? Курок нажал?» Нет, отвечаю. По-другому. И не считаю, а думаю. Фадеева из министров, как и Симонова из «Литгазеты», Хрущев бы уж точно сместил. Как убежденного сталиниста. Не сегодня, так завтра. По мановению. Вот только Симонов ванька-встанька: гнется, да не ломается. А Фадеев? С его-то апломбом? Быть всем и стать никем? Вот и ушел.

Валерия Анатольевна и не возражает, и не соглашается. К Симонову у нее застарелая неприязнь, давным-давно положившая себя в форму язвительного анекдота. (В старинном значении. Не нынешнем. Ахматова называла такие безделки пластинками.) День теплый. Первый по-настоящему весенний. До выноса супницы уйма прогулочного времени, и я успеваю выслушать две, а может, и три «пластинки». С подлинным наверняка верно. Симонов в варианте В. А. Герасимовой почти неотличимо похож на того Симонова, каким запечатлен и на моей «пластинке» (Большая Историческая аудитория МГУ, конец марта или начало апреля 1956 года, точной даты не помню). Мне-то именно такой и интересен, ей отвратителен. Она судит, я наблюдаю. При случае и этот устный рассказ переведу в прозу, а пока слушаю. Пытаюсь запомнить (присвоить, чтобы использовать для обдумывания?) неизвестные мне детали, но они не запоминаются. Видимо, потому, что свидетельствуют не столько о подследственном персонаже, сколько о самой, В. А. Г. Семен Александрович Ляндрес, через него рукопись герасимовских воспоминаний о Фадееве и Либединском, видимо, и поступила в «Вопли», вспоминает Валерию Анатольевну победительно звонко-красивой, но... Мне трудно наполнить конкретностью это неизменно джентльменское «но». Как, впрочем, и свое. К счастью, приключения и победы Фадеева на женском фронте мы не обсуждаем. На сей счет у В. А. типическая «отмашка» — все мужики ходоки, по определению, братец (режиссер, культовый автор бестселлера «Тихий Дон») такой же, а может, еще и похлеще. Соглашаюсь, но пробую уточнить. Но В. А. не слушает — устала. И от ходьбы, и от солнца, и от воспоминаний. К ужину она не выходит, за обеденным табльдотом ее тоже нет. А вечером приезжает ее дочь Аня. И не одна, с мужем. Стук в дверь. Зазывает к маме, ей, мол, получше, приступ сняли, прописали карбоксилазу и постельный режим.

Нилин (сын) в недавно изданном вместоромане (Станция ПЕРЕДЕЛКИНО: поверх заборов. Роман частной жизни Александра Нилина. М.: АСТ, 2015) не без язвительности упоминает, что дочка Герасимовой, подростком, шокировала обитателей рижского ДТ в Дубултах тем, что загорала, «открыв солнцу больше пространства оголенного тела, чем прочие отдыхающие на литературном курорте дамы» (с. 35). Сказать, что в хорошенькой капризуле, с которой, спустившись с моей верхотуры, в марте 1965-го мы пьем-попиваем полугорячий чай с еще почти теплыми булочками, от той нагловатой пацанки и следа не осталось, будет преувеличением. Лаврушкинское тавро — это вам не слабоположительное перке. Этим тавром все птенчики, из того гнездышка вылетевшие, мечены. И все-таки что-то в ней есть, как, впрочем, и в новоиспеченном ее супруге, и в странном его имени — Винцент, и в его стихах. (Несколько текстов странного зятя В. А. после отъезда молодых тайком от автора мне показала.) И матушка тоненькой Анечки, по-моему, напрасно волнуется. В обоих что-то есть, а вот в бойком «ихнем» сыночке Шаргунове-младшем отсутствует. Все тот же Нилин А. П. дипломатично предполагает — а вдруг? А вдруг, не сладив с Катаевым, отпрыск хотя бы с Фадеевым с грехом пополам сладит? Все-таки другой взгляд, из другого времени, из другой молодости. Вряд ли. И молодость не перводебютная, и вместо взгляда — гляделки. Чтобы «громада» «двинулась», водоизмещение требуется, какое-никакое, но водоизмещение, а нынешний литгосфлот — от флагмана до катера береговой охраны — сплошь плоскодонки.

Но я опять забежала вперед. Мы же все еще в марте 1965-го. До конца псевдопроспекта теперь, после приступа, В. А. не добирается, скорая припугнула. Прогуливаемся по ровному и перед ужином. Днем у нее то врач, то уколы, то послеобеденный отдых. И о давно прошедшем не говорим — так, мелочи... И между прочим. И вдруг — и это уже не информация, а почти готовая картинка.

Начало тридцатых. В. А. и Фадеев, еще не в разводе, но уже врозь...

Лесная дача. Глушь. Охрана. Мундиры. При дамах. Дамы в вечернем. И в цацках-прическах. Где стол был яств... Ну и... Как обычно. Вдруг кто-то из пистолета — бабах! — в занавес. Стекло вдребезги. Шум. Вскакивают. Саша (Фадеев у нее всегда Саша, или никак, или Саша), схватив за плечо, медленно, вроде как для опоры, разворачивает к выходу. Пьян в дымину, глаза трезвые. В машине — он рядом с водителем, я на заднем. Из темноты выскакивает некто. Усаживается рядом.

Конец так внезапен, что я заменяю пересказ почти прямой речью. Трогаемся. Не едем. Не мчимся. Летим. Откуда он взялся, этот несчастный прохожий? Ночью на глухой, сквозь лес, пустынной дороге? Вскакиваю. Кричу! Остановитесь! Может, еще жив? Может, его просто сбили, отбросили? Как ему это, я о Саше, удается? Перекинувшись через сиденье, бьет по лицу, по глазам, пальцы сжимают, зажимают рот. Какая длинная, какая стальная рука! И все молча. Ору только я.

Продолжение следует.